

*Моим родителям
Федору Кирилловичу и Анне Александровне
посвящается*

Прошел октябрь. Сразу после праздников резко похолодало. Ветер с северо-востока пригнал тяжелые низкие тучи. И пошел долгий морозящий дождь. По ночам подмораживало, мелкие лужицы схватывались тоненьким матовым ледком. Однако с рассветом опять накрапывало, льдинки темнели и к обеду таяли.

* * *

С холма к хутору круто спускалась степная дорога, опушенная с боков культурной посадкой низкорослой смородины и боярышника. В ясный погожий день отсюда, с вершины, далеко видна вся низина, похожая на русло некогда могучей реки: у самого горизонта темнел лесок урочища, лишь иногда поблескивая черными окнами чистой воды, маленькая речушка со странным названием Кубылка пряталась в сухостое камыша, а чуть ближе — сады, дорога, хуторские дома, строчка линии электропередач.

Но теперь в низине колобродит густой, ровный туман, а здесь, на вершине, раздольно гуляет промозглый ветер.

Ваня Тянтов постоял немного, подняв коротенький воротник фуфайки, еще глубже, на самые уши, надвинул мокрую кепку и зашагал вниз, широко расставляя ноги, крепко вдавливая каблук в податливую землю, шел он рядом с посадкой, сбочь от дороги, где неожиданно поздно пробилась ярко-зеленая упругая травка.

Дом, где он родился и вырос, и где теперь одиноко жила его мать, Тянтов безошибочно узнавал даже летом, когда в буйной зелени садов утопал весь хутор — над домом высился могучий ствол серебристого тополя, но сегодня даже его не было видно.

От центральной усадьбы совхоза до хутора чуть больше двух километров. Тянтов шоферил на грузовике-«газике» и по этой дороге, бывало, по нескольку раз на день проезжал; нет-нет да и тормознет у дома, по хозяйству поможет или просто поговорит с матерью. Она уже не работала, жила на небольшую пенсию, часто болела. Ване было жалко ее, но забрать ее к себе не мог, жил он в совхозном общежитии в одной комнатке, да и не это главное — его жена, Лена, не хотела жить вместе, вплоть до развода, а Ваня любил свою верную жену и сына Илюшку, и поэтому не знал, что делать, не знал, как ему быть.

На дорогу он перебрался уже в хуторе, энергично шел по накатанной неглубокой колее, возле самого дома прыгнул через канаву, наполненную мутным дождевым потоком, не рассчитал и глубоко провалился в грязь правой ногой. Чертыхаясь, выбрался, прыгая с камня на камень, добрался до калитки. От калитки к дому среди крупных вишневых деревьев, растопыривших узловатые голые ветви, вела узкая бетонная дорожка, добротная сработанная еще его покойным отцом. Ваня яростно забухал кирзовыми сапогами о бетон, сбрасывая ошметки грязи, и у крыльца долго и тщательно мыл сапоги березовым веником, обильно смачивая его в ведре со сточной водой.

Покурил на крыльце, слушая тишину. Где-то скучно брехнул пес. Влажный холодный ветер кидался из-за угла, лез за шиворот, в лицо. Ваня поежился, вздрогнув всеми мышцами, и вошел на веранду, там он снял фуражку, сильно и резко встряхнул ее, на полу осталась дорожка, густо засеянная мелкими капельками.

— Мать, где ты? — позвал он.

Потоптался на подстилке, оставляя мокрые следы, и, убедившись, что грязь в дом не несет, открыл дверь в переднюю, там тоже никого не было, и он опять громко сказал:

— Есть кто живой?

— Не кричи, — отозвалась мать из комнаты. — Здеся я. Сижу.

Ваня стянул сапог, потом другой, сунул ноги в шлепанцы, приспособленные из старых матерчатых туфель, вышел на веранду и встряхнул фуфайку.

— Собака, — ругнулся он. — Опять дождь хлещет... Мам, есть что перекусить, а?.. Я сегодня ничего не ел... Слышь?

Мать не отвечала.

Оставшись в тонком свитере, Ваня сразу почувствовал, что и в комнате, и на веранде одинаково холодно.

— Ты что, не топила сегодня?

Потрогал плитку — холодная. Сухие колбушки дров, которые в прошлый приход он аккуратно сложил подсушиваться для растопки, исчезли. Тронул дверку поддувала, оттуда, взметнув сизоватый дымок, посыпалась зола.

— Сколько дней из печки не выбирала? — сердито сказал он. — Ты что, не слышишь меня?

Мать не отвечала, он вошел к ней в комнату.

— Ты не заболела?

Мать сидела на неубранной постели, накинув на плечи одеяло, ноги были укутаны толстой шерстяной шалью. Она не повернулась к нему, не поздоровалась, а

будто не замечая вовсе, застывшим взглядом смотрела в окно, где сквозь слегка замутненное стекло виднелся кусок улицы. Увидев поджатые губы с опущенными книзу уголками, Ваня подумал: «Хандрит».

— Ноги что-то гудят, — сказала она в пространство, будто самой себе.

— Да это на погоду... — поддерживая разговор, сказал Ваня. — Меня тоже в коленке крутит... Гнилая погода, собака... Мать, я же с тобой говорю... Ну чего ты? — обиделся он.

Она молчала. «А ну тебя», — подумал он, повернулся и пошел растапливать печь. Выгреб золу в ведро, сбегал в сарай, нашел сухих щепок, принес угля. Наконец огонь в печке, почувствовав сильную тягу, зашумел. Ваня заглянул во все чугунки и кастрюли, поставил разогреваться щи, не нашел хлеба и, раздраженно хлопнув дверцей столового шкафчика, спросил:

— Что, даже хлеба нет?

— Там сухарики, внизу... Возьми... — тихо сказала мать.

Ваня не торопился, управляющего он предупредил, что сходит на хутор, работы не было в этот день, да и куда в такую грязь поедешь. Немного перекусив, Ваня подобрел и разговорился.

— Совсем замучился! Ленка в область на курсы уехала... Она квалификацию повышает, а я на части рвусь... Хорошо, хоть Илюшка в продленке... А то придет из школы — кормить нечем... Некогда даже в магазин сходить... Слышь, мать, а он, паршивец, и в школе ничего не ест. Я ему рубль дам, так ему на неделю хватает... Пирожки да молоко... Ты чего молчишь?

— Ванюшка, — отозвалась она.

— Ну.

— Петро письмо прислал.

— Ну. Что пишет?

— Там оно, на верхней полке, в шкафчике.

Ваня нашел аккуратно сложенный листок из школьной тетради, развернул его и углубился в чтение.

— Ванюшка, поди сюда.

— Ну что? Дай дочитаю... Братишка что-то на жизнь стал жаловаться... Ехал бы домой.

— Иди сюда... Сядь тут, — мать кивнула на постель. — А я к Петру поеду, — после недолгого молчания сказала она.

— Езжай. Поживи немного. Проветришься.

— Насовсем.

— Как это? А он?

— Что?

— Может, он не захочет... Вон в письме пишет, что квартиру только обещают... Кто знает, как он там живет.

— А я с деньгами поеду...

— Мать, ну о чем ты говоришь! Какие деньги? Откуда?

— Не-е, я не хочу обузой... Не-е... Я, Ванюшка, дом продам...

— Как? — Ваня даже задохнулся от неожиданности. — Ты что? Зачем?

— А зачем он мне нужен... Ты в нем жить не хочешь...

— Мать, опять ты за свое. Сколько можно говорить. Не во мне дело. Ты же знаешь.

— А что я знаю, сынок? Я жить одна боюсь... С ногами что творится — болят, ноют... А дом? Вон он какой большой, за ним уход нужен... Я уже не могу... Тебе некогда... За неделю на пять минут пришел.

— Придешь тут, — буркнул Ваня. — Пехом три километра по грязи... Я с бугра чуть не на карачках лез...

— Ленка твоя сюда и в носе не кажет...

— Но она же на курсах... — обозлился Ваня.

— Может, где-то замотаешься, придешь, а я уже померла...

Лицо ее страдальчески сморщилось, губы часто задрожали.

— Ну вот... Заныла, — грубовато сказал Ваня.

— А я решила, — всхлипнув и шумно потянув носом, прервала свой беззвучный плач мать. — Тебе я не нужна... И не надо... Петро еще есть... Он меня и в прошлом году звал к себе... И сейчас пишет...

Ваня растерянно поморгал, пожал плечами.

— Ну как знаешь... Тебе виднее. — Уже в дверях, одетый, он, хмыкнув, спросил:

— Кто покупает?

— Кум на днях заходил, проведаль... У Никиты, сына его, второе дитя родилось, а теперь вот отделяться надумал... Хочет поближе к отцу с матерью быть...

— Это Митрохин, что ли?

— Ага. Говорил, тыщи полторы даст.

— А сад, огород, погреб, сарай. Это что, за все?

— Ну да. Это много, сынок... Мне не стыдно будет ехать к Петру...

— Что ты говоришь? В городе это же на раз плюнуть, опять двадцать пять!

— Я поеду, — упрямо повторила мать.

— Та-ак, ладно... Как знаешь, — он скрипнул зубами и тихонько ругнулся.

— Ты чего лаешься! Ты это на кого?

— Та-а, ладно... Дурость какая-то!

Ваня хлопнул дверью и выскочил на улицу.

* * *

Ночью мать слышала, как толкался ветер в стену, как гремело на крыше, как скрипел тополь в палисаднике, сопротивляясь очередному порыву, с него с печальным шорохом сыпались последние красные листья и сухие веточки, царапались в закрытые ставни, и оттого, что последнее время ей подолгу не спалось, напускала она на себя страхи, что кто-то живой ходит под окнами и не решается попроситься в дом. «А может, старик пришел... Знак подает, чтобы вышла к нему...» — думала она, ворочаясь под стеганым одеялом.

Старик часто являлся к ней во сне. Сядет, как бывало прежде, подле нее, невольно погладит волосы. «Ну, как живешь-здравствуешь? Как дети, не обижают?» А она все на Ваньку жалуется ему: «Грубый, слова не скажи, ничего не слушает и выпивает. Я ему: «Ванюша, ну чего ты глаза залил, иди домой, дома ведь жена, дите...» А он: «Цыц, мать, народила меня, чтобы мучился, так теперь молчи!» Достанет со шкафа баян, сдует пыль и играет. Тихонько так играет и поет: «Не-е дубра-а-а-а-вухка шумит...» Глаза открытые, но я-то понимаю, что ничего не видит он, где-то далеко он...»

А в том месте, где «догорю-ю с тобо-о-ой и я», как заплачет... И все бормочет: «Что же они со мной-то сделали?» — «Кто, Ваня?» — спрашиваю. Молчит. А потом плачет и играет... И я вместе с ним плачу...

А вдвоем он не любит плакать, он тогда кричит и уходит... И чего он себя терзает?..»

Старик вздохнет тяжело, скажет: «Ты, мать, на Ваньку не серчай... Его пожалеть надо... Обиду он в сердце носит, она его и гложет...» — «Так что же он, такой-сякой, всех, кто рядом, мучиться заставляет... и жена его, Ленка, и я, а малое, оно при чем?» — «Вылечится он, вылечится, мать, не навсегда это... Хоть и слабое семя мое, да светлое, без червоточки... Один он корнями за родную землю цепляется... Петра унесло ветром, небось, мается...»

Стук... скрип... Шорох...

«Вроде и поговорила с Ванюшкой, а вот не полегчало, — думает мать, поджигая холодные ноги. — Взял бы хотя бы раз, да и отлупил Ленку, смотри, сразу ум и образовался бы у нее. Так нет, не хочет, она ему дороже матери родной... «Мы должны жить самостоятельно», — передразнила она невестку. — Самостоятельно... Это что же, только для себя?..» Всхлипнет, заворочается, вздохнет и опять думает.

О смерти она думала редко, смерти она не боялась. Они со стариком часто говорили, что будет, если придет она. Жизнь прожили светло и праведно, и не было на их жизненном пути черных пятен, от которых мучается и трепещет душа в ожидании расплаты.

Старик умер во сне, тихо отошел на вечный покой, и мать, пока ноги бегали, не замечала течения времени и не очень-то думала о том, что ждет ее впереди, крепко надеялась она, что и ее смертушка не обидит, не заставит страдать, а приберет, как мужа, тихо и спокойно, не причиняя особых хлопот родным людям.

Но вот с осени забеспокоилась она. Дурные мысли стали посещать ее. «А вдруг как откажут ходить вовсе... Без ног совсем беспомощной стану, — и от этой мысли ей становилось жалко себя. — На чью помощь надеяться... Кто хлебушка даст и за ней уберет, ведь человек она... А вдруг?.. Что тогда?..»

Снова скрип и шорох...

Жил у нее в доме большой ленивый кот с рыжими подпалинами, но и тот, уже неделя прошла, как куда-то запропастился. Раньше за работой мало времени оставалось думать да размышлять, а вот приболела, и теперь далее минуты без ощущения рядом живого существа казались ей страшными.

«А всему виной Ленка, — думает мать о невестке, — если бы не сбила с толку Ванюшку, жили бы вместе... Что же я ей такого плохого сделала? И Ванюша хорош, нет бы к матери родной тянуться... Ничего, есть еще Петро...»

И она заулыбалась, вспомнив, как года три назад, в августе, приезжал погостить Петро с женой. Радовалась она тогда, что дружно живут они и, что Верка, жена старшего сына, работающая, внимательная. Все в доме перемыла, перестирала, сама чистенькая такая, городская, а деревенской грязи не побоялась. А гостей сколько перебивало в доме: то соседи забегут вроде по делу, а сами Петра с Верой разглядывают. То старые Петровы товарищи наскочили, сидели за рюмочкой, вспоминали знакомых, кто жив, кто умер, кто где работает, у кого сколько детей, разные памятные случаи из юности и детства... А как ей было приятно пройтись по хутору с сыном, с его красивой женой и внуком...

«Надо бы поехать к ним, — думает мать, — сколько раз собиралась и все никак... Хотя бы харчей повезти... Как они там живут?»

Письма от них приходили редко, и она их по многу раз перечитывала, и в последнем Вера своим округлым учительским почерком писала, что все у них по-прежнему, все хорошо. Никто пока не болеет. Петя много работает. Сережа ходит в детский сад. Что на следующий год ему в школу.

В конце письма приписка рукой Петра о том, что скоро получают, наконец, квартиру и что если бы она жила у них, то наверняка получили бы на одну комнату больше.

Двадцать лет тому назад уехал Петр из дому; сначала армия, потом институт, теперь на заводе работает, солидный человек, за сорок, а думала она о нем, как о маленьком.

Погоревала мать о том, что не знает толком, как они там живут. И ей стало жалко Петю, невестку, внука, всех дорогих и близких ей людей.

Снова скрип и шорох.

Мать замирает под одеялом, прислушивается к звукам, которые рвутся со дво-

ра, сквозь невидимые щели, печную трубу и двери, потом выпрастывает ноги, садится на постели и опять тревожно вслушивается, стараясь выделить звук живого: мерно стучит будильник, где-то далеко родился шум мотора, нарастая, с завыванием приблизился, свет фар просочился сквозь доски ставен, пополз по потолку узкими полосками. Полоски одна за другой таяли, потом юркнули в темный уголок за сундук. Шум мотора пропал, и она явственно услышала тихий стон. Она пошла босыми ногами по холодным половицам, нащупала выключатель и зажгла свет.

«Может, Ванька приперся?» — гадают она, накидывает прямо на длинную ночную рубашу холодный резиновый плащ, сует ноги в тапочки, открывает дверь на веранду.

— Кто тут? — спрашивает она.

Долго возится с ключом, открывает дверь на улицу.

Там за порогом темь и холод.

— Кто тут? — кричит она, вглядываясь в темноту. Никто ей не отвечает. Громада тополя таинственно шуршит над ней. Длинные черные ветви зашевелились, скрипнули от нового порыва ветра, со стоном потянулись к ней. Мать отшатнулась за порог. Никого.

* * *

Кум не приходил. Она ждала его на следующий день, как уговаривались, но прошло еще три дня, а его не было, и мать даже обрадовалась этому. «И слава Богу, — решила она. — Все, что ни делается, — к лучшему».

Погода, наконец, установилась. С утра, почувствовав в себе силы, вышла открывать ставни и ахнула — заполночь, оказывается, ударил морозец, тополь позванивал ледком, будто стеклянный, тучи поредели, и в прорехах виднелась далекая синева.

За неделю, пока она болела, ее небольшое хозяйство подзапустилось. Куры, обьевшись зерном, ходили боком. Ванюшка схитрил — чтобы не бегать кормить их каждый день, взял да и насыпал зерно из мешка прямо на пол сараюшки.

От дождей в погребе собралась большая лужа, в гараже лежал горой влажный лук, который она еще до болезни собиралась перебрать и не успела. Везде надо было руки приложить, и она с удовольствием окунулась в привычные хлопоты.

В обед она сидела на низком скрипучем табурете, наклонясь над большой миской, чистила картофель. У ножки стола крутился вернувшийся кот Рыжик: то догонит свой хвост, то лапкой умоется. «Видать, гости будут», — заметила она.

И точно, глянула в окно, кто-то ходит по двору. Скоренько оделась, вышла. А это кум, Митрохин Гаврила Степанович, с сыном. Стоят. Разговаривают.

— Доброго здоровечка, Петровна! — приподнял кепку Гаврила Степанович.

— Да какое тут здоровье. Неделю провалялась с ногами. Сегодня только полегчало.

— А я вот с Никитой... Решили посмотреть твоё хозяйство.

— Чего его смотреть... Ты наш дом знаешь...

— И то верно, — согласился Митрохин. — Ну, это я... А жить, ежели чего, Никите. Пусть сам смотрит.

— Пускай... А мы айда в хату, чего на ветру стоять, — предложила мать, выскочила она налегке и уже замерзла.

Они пошли в дом. Пока вытирал ноги, Гаврила Степанович цепким взглядом подмечал, что перила держатся на честном слове, да и порожек подгнил, что в углу веранды крыша подтекает, разводы на стене, обвалилась штукатурка. «Да...», — протяжно сказал он, делая важные для себя выводы.

— Заходи, — пригласила мать в комнату, кум вошел, сел на стул возле порога, распахнул пальто, не торопясь, достал папиросы.

— Я курну, Петровна? — спросил он.

— Да дыми, — махнула рукой мать.

Она выглянула в окно. Никита закрывал гараж.

— Ишь, — усмехнулась она, — в батьку растет...

Низенький, широкой кости Никита напоминал ей молодого Гаврилу, послевоенного парубка. «И лицо — копия», — подумала она.

— Растет... Дубина здоровая, — с затаенной гордостью за сына сказал Митрохин.

Мать опять уселась на свой скрипучий табурет и стала чистить картошку. Замурлыкал, потираясь спиной о ногу, Рыжик.

— Ну что, нагулялся?

— Смотри, Петровна, ухо-то порвали черту рыжему, а... Боец... За невесту дрался, наверное... — хохотнул Митрохин.

Никита все не шел. Ожидание затянулось, и их нетерпение, вызванное разными причинами, усиливалось. Не складывался разговор, приходил кум несколько дней назад просто так, по-соседски поведать, как старый Антонов друг, ее не волновало тогда, зачем он пришел, что думал; зашел, ну и спасибо, и поговорили, пожаловались на старость, о детях, о погоде, о многом. Но теперь дело было другое, мать только догадывалась, что тот разговор, который она посчитала зряшным, выдуманным лишь для того, чтобы Ванюшу погугать, Гаврила Степанович обдумал и пришел теперь с серьезными намерениями.

Пришел со двора Никита.

— Ну, батя, полный завал, — сказал он. — Гараж надо достраивать, туда машина не войдет... Толь на крыше рваная... все старье... Кто делать будет? А погреб... В год по сорок раз воду качать? Там грунтовые воды подходят.

Митрохин внимательно слушал сына, качал головой и протяжно говорил: «Да...»

Старухе стало обидно, что пришел вот чужой человек, стоит и бессовестно хаёт ее дом, где ей было известно, кто, когда и куда вбил гвоздь. Гараж этот своими руками сложил ее старик, Антон Егорыч, а погреб — дети как-то собрались в отпуск и всем миром соорудили его за три дня. Она хотела заглянуть в глаза соседу, но тот делал вид, что слушает, и отворачивался.

— Ну, вот и хорошо, что не нравится, а то, знаешь, Степаныч, я, кажись, тоже передумала, — сказала она. — Да и Ванюшка приходил, ругается, не согласен.

— А мы уже и деньги приготовили, — растерянно сказал Никита.

— Шел бы ты на улицу, — сказал Митрохин.

Никита вышел на крыльцо, а кум затянулся глубоко, послунывил пальцы, затушил папиросу и сунул ее в карман.

— Петровна, я ж не в бирюльки пришел играть... Ты чего же надо мной насмеяешься?

— Да я... — Старуха хотела объяснить, что разговор был необдуманный, напомнить ему, как дело было, но кум перебил ее.

— Весь хутор смеяться будет, как я хату покупал... Все уже знают, что ты едешь в город, жить к Петру, что дом мне продаешь...

— Да, это верно, — сказала мать, — но я еще не решила...

— Так ты решай... Говоришь, Ванька не хочет... Да если бы он был как надо, разве бы жил отдельно. Срамота и только. Мать одна, а он в гости ходит... Дом Антон Егорыч на тебя записал. Что хочешь, то и делай... Решила о своем старшем сыне подумать, и правильно... Сколько ему мыкаться... Тем более зовет. А у Ваньки над головой крыша есть.

— Так ведь казенная, — слабым голосом возразила она.

— Надумашь, приходи, я от своих слов никогда не отказываюсь.

Митрохины ушли, а она долго еще сидела над миской, смотрела на картофельную кожуру и все не могла собраться с мыслями. Надо было теперь решать.

После разговора с матерью Ваня Тянтов с неделю не находил себе места, слыл от человеком бесхитростным и все, что творилось на душе, яснее ясного читалось на его лице. Шоферская братия сразу заметила, что ходит он хмурый, какой-то потерянный, но когда кто-то попытался сострить: «Ты чего такой мрачный, аль жена в городе загуляла... Смотри, Ваня, там театры, рестораны, соблазны разные... Лучше держи ее, как козу, на приколе», он так ответил, что шутить больше никто не хотел, все знали, что парень он смирный, но, если затронешь, в драке становился просто бешеным.

Ваня о них думал хорошо, мужики в гараже подобрались неплохие, но говорить с ними о домашних делах... Нет, он не мог. Хуже всего было, когда оставался один: ехал на дальнюю ферму за молоком, возился под машиной, шел с работы домой, мысленно он то продолжал свой разговор с матерью, то начинал задавать вопросы: «Зачем? Объясни! А что сказал бы отец?», то вдруг начинал обвинять во всем свою жену. Нужен был совет. Нужно было просто кому-то рассказать обо всем этом. А кому? Не идти же в профком по личному вопросу.

«Если бы Ленка была дома», — горевал он. Ваня был убежден, что кто-кто, а его жена всегда знает, что делать. За ней он был как за каменной стеной. С молчаливого согласия она главенствовала в семье. Ваня и не возражал, он был добрым и порой просто безвольным, она — практичной от природы, умной хозяйкой. Ваня часто думал, что же связывает их так накрепко, сам-то он был вроде не красавец, худой, руки длинные, а она девка видная, и, смотри, даже когда он в беду попал, не бросила, дождалась.

Он понимал, что ребята не со зла, просто так, для хохмы, сказали о городе, а смотри, подлый червячок ревности зашевелился, и он очень захотел, чтобы Лена скорее вернулась.

В субботу Ваня не удержался — мужики собрались в гараже после работы, хряпнули по стаканчику красного вина, разошлись.

Пришел домой, а там — новость. На кухне пар клубами, жарко. На плите выварка стоит, Ленка, его любимая жена, краснощекая, в легкой блузке без рукавов. Стоит у корыта, нагнувшись, стирает. Блузка обтянута на груди так, что чуть пуговицы не отлетают, раскачиваются полные груди, Ваня оглянулся — кухня общая.

— Во, — сказал он, скалясь, — смотри, вывалятся...

Ленка мокрой рукой откинула прядь волос со лба.

— И это вместо «здрате»... — улыбнулась она.

Она не стала его ругать за то, что пришел выпивши — от нее ничего не скроешь; что в комнате грязно, что Илюшка голодный, что она устала как собака, что отпросилась с курсов на неделю раньше — она знала, что все так и будет.

— Иди, раздевайся, — сказала она. — Сейчас покормлю...

...Хорошо, что Илюшка быстро засыпает, и спит крепко, пушкой не разбудишь...

...Они лежали рядом на спине, касаясь друг друга по всей длине тела.

Пальцы ее коснулись щеки, с шершавым звуком потеряли ее.

— Ваня, ты хоть бы побрился, — тихо сказала она.

— Да когда его, времени не хватает...

И опять молчали, глядя в потолок. «Сейчас бы покурить», — подумал Ваня. Он представил себе, как хорошо бы сейчас выйти на морозец, курнуть, всей грудью подышать обжигающим с дымком воздухом — и назад, в тепло.

— Ну, как там, в городе, есть подходящие женихи, — насмешливо спросил он. — Небось, в ресторанах была?

— Была. И в театре... Комедию смотрела... Красиво там...

— Про что?

— Что про что?

— Ну, комедия.

— О жизни... Смешная...

— А я тебя ждал, — сказал он.

Лена даже глаза закрыла от удовольствия, она вдруг легко повернулась к нему своим горячим телом и выдохнула:

— А не брешешь?

— Что брехать... Ждал... Лен, мать уезжать надумала. К Петру в город собралась.

— Пусть едет.

— Но так дом продает.

— Пусть продает.

— Лен, нельзя его продавать.

— А чего?

— Ну... Нельзя... Я родился там... Там отец помер... Там тополь растет...

— Да ерунда это, Ваня.

— Да-а, — сказал он немного погодя, — понимаешь ты много.

Он отвернулся к стене и обиженно засопел. Он не любил громких слов, но как сказать, что для него такое родной дом. Дом родной... Откуда ему, Ване Тянтову, знать, в чем его великая притягательная сила. Почему всегда тянет издалека к одному-единственному на свете месту? Почему, когда он видит серебристый тополь, который его отец посадил в день его, Вани Тянтова, рождения, всегда колотится сердце. Он это чувствует, зачем говорить словами.

— Вань, ты чего, обиделся? — толкнула его в бок жена. — Ну, не сердчай... Я тоже без вас там скучала... Сажу на занятиях, а сама думаю, как там вы: голодные, холодные...

И еще долго они говорили и уснули поздно.

Назавтра Лена сходила на хутор. Мать была дома. До самых дверей Лена шла, как обычно, уверенная в себе, знающая, чего она хочет, но, увидев Таисию Петровну, ступсывалась, потому что вдруг сообразила, что не знает, как назвать свекровь. Мама — прозвучит фальшиво, она уже давно так не называет ее. Таисия Петровна — это уж совсем по-чужому.

— Заходи, чего в дверях стала, — сказала мать, не зная, что ей думать на неожиданный такой приход. — Ванюшка сказывал, что ты в области.

— Да все... Отучилась.

— Может, чего стряслось? С Ванюшкой?

— Да нет, просто так.

— Ну-ну, — недоверчиво сказала мать. — Садись, рассказывай, как там у вас?

— Ничего, нормально.

Лена села за стол, расстегнула верхние пуговицы пальто, сдвинула на шею платок. Мать тоже присела.

— Чего пришла? — спросила она, испытывающе разглядывая невестку.

— Ваня прислал, — честно сказала Лена. — Просил дом не продавать... Он говорит, если Петру нужны деньги, то мы дадим... Немного, правда... У нас много нет.

— А зачем ему дом?... Жить вы все равно тут не хотите... А денег мне ваших не нужно... Обойдусь... Да разве в этом дело, — она махнула рукой. — Ты вот лучше скажи мне, ты чего такая? А?

— Какая такая?

— Задача. Это все из-за тебя... Знаю, там Ванька пикнуть не может. Все ты...

Лена ссориться не собиралась.

— Ну, я пойду, — сказала она, встала, поправив платок. — Так что Ване сказать?

— Не-е, ты погоди... Раз пришла, давай поговорим... Что же ты у живой матери сына отбираешь? Я уже старая, мне помощь нужна... Откуда ее ждать, как не от детей родных... А ты?

— А что я? Мы уже пробовали ужиться у одной плиты вдвоем. Не получилось... Больше не хочу.

— Так за что же ты на меня зло держишь?

— Да не держу я на вас зла... Просто я не Ваня, обиду зазря нанесенную долго в себе помню.

— Это какую же обиду?

— А когда Ваня в беду попал, помните? Кто крайним оказался? Я. Только и слышала от вас — не уберегла, не отстояла, не уследила... А что можно было сделать тогда? Я и так всех на ноги подняла... Весь совхоз помогал... И характеристики какие были... А ничего не вышло... Закон есть закон, его не уговоришь... Ваня сам виноват. Кто просил его этот мешок брать? Он, как Антон Егорыч, тот тоже такой был — распахни душа, и сынок по наследству, все ему надо, за все в ответе... Вот и сказали — отвечай. А он что говорил: «Я не брал чужое». А как доказать? Нет, не я виновата... И людей Ванька зря винит, видишь ли, не поверили ему, что он честный человек... Поверили, но... Закон... Нет, Таисия Петровна, жить я здесь не буду... Вот так.

И она ушла, а мать долго еще сидела с потухшими глазами, и все горевала, что получился такой разговор.

Вечером она сходила к куму, отдала ему паспорт и попросила решить все там поскорее. Гаврила Степанович съездил в район к нотариусу, оформил бумаги и привез подписать их. Через пару дней все самое главное мать сделала: кур почти даром отдала соседке, заперла в гараже зерно.

* * *

После школы пришел Илюшка. Она его покормила.

— Чего же отец не идет? — спросила Тася.

— Ты ему говорил?

— А он обиделся.

— Говорил что?

— Дура, говорит.

— Ну-у...

Илюшка помог снять занавески, коврик, картинки, фотографии со стен. Мать вытащила из сундука небогатые свои тряпки, связала в два узла, поносила на стол кастрюльки, мисочки, потом села, смотрела на голые, пахнущие нежилым стены, на нависший, разом почерневший потолок, на квадратные и прямоугольные пятна, выделяющиеся невыгоревшей побелкой, где только что висели много лет неснимаемыми украшения и реликвии ее семьи, сидела, дивилась, как все же мало добра нажили за долгую жизнь, и ведь не нуждались.

— Баба, — позвал Илюша.

Мать поспешила на помощь внуку, он никак не мог справиться с проволокой, на которой висела последняя деревянная рамка, где под стеклом были их семейные фотографии.

— Ну-ка, дай я попробую, — сказала старуха, с трудом взбираясь на стул. По-

шатала гвоздь. Нет, не поддается. Проволока жесткая, руками не сломать. — Это твой батька постарался, — сказала она. — Сбегай в сарай. Где-то там клещи валялись.

Илюшка сбежал в сарай, принес клещи.

Мать стала перекусывать проволоку заржавевшими клещами, и долго ей это не удавалось. Она придавила клещи обеими руками и не успела подхватить рамку. Звякнуло, разлетевшись по полу, стекло.

— Ударила родненьких, — запричитала она, становясь на колени. — Ох, ударила... Я же не хотела, — вытаскивая из рамки осколки, говорила мать жалобным голосом.

В день отъезда она сходила на могилку мужа, попрощалась. И до тех пор, пока не подехал на тракторе Никита, все поглядывала, не идет ли Ваня, но он так и не пришел.

От хутора до районной станции, где проходила железная дорога, добрались за полночь. Никита купил ей билет, помог сесть в вагон и ушел. А потом она долго ехала.

* * *

Морозным воскресным утром Ваня решил пойти к Митрохину. «Спыток — не убыток, — думал он, — ну, приду, поговорим, должен же он понять, что никак нельзя продавать дом, а мать глупостью сделала, что это она назоло мне...»

Он тщательно вычистил костюм, надевал кирзовые сапоги. Лена молча наблюдала за приготовлениями мужа, но когда он, чертыхаясь, стал примерять галстук, который не надевал со свадьбы, не выдержала:

— Куда это ты?

— Тебе оно надо? — огрызнулся Ваня.

«Разговор состоялся. Чего теперь воду в ступе толочь», — подумал он.

На прошлой неделе он тайком под вечер ходил на хутор, прошел к дому задом, чтобы никого не встретить случайно, обошел дом, заглянул вовнутрь, но ничего не разглядел в темноте, увидел кучу кирпича, следы шин грузовика. «Никишка завез, наверное, стены будет обкладывать», — решил он и расстроился, что столько времени сам собирался это сделать, а все руки не доходили.

А дома жена сразу, только глянула на него, догадалась:

— Опять на хутор ходил? Ну, зачем?

Ваня стал говорить, что деньги-то у них есть. Надо их Митрохину отдать, и пусть вернет дом. А жена свое — «За всю жизнь скопили... Да если бы не я, копейки у нас не было бы... Вон, дыр сколько... Третью зиму в одном пальтишке хожу... Илюшка тоже раздетый... А ты все сразу коту под хвост...»

В конце концов, поскандалили, но Ваня настоял на своем — деньги со сберкнижки сняли. В совхозной сберкассе их столько сразу не оказалось, привезли из райцентра через несколько дней. Принесли домой, развернули бумагу, в которую были упакованы пачки, и Ленка заплакала: она столько денег сразу никогда не видела, ей стало их жалко, и она заявила, что не отдаст их. Ваня хотел было врезать ей, но только плюнул и в этот вечер крепко напился.

...Он продрог, широко шагая по дороге, и все думал, как бы посolidнее вести себя в чужом доме. В центре хутора он зашел в продмаг. Знакомая продавщица зыркнула на него глазами, заметила галстук и сказала весело: «Ваня, ты сегодня красивый. Праздник что ли какой?» — «Та-та», — сказал он и запахнул воротник пальто так, чтобы не было видно галстука. Она привычным движением, не глядя, взяла с полки бутылку водки и поставила перед ним, даже не спросив, что

ему нужно. «Не-не, — сказал Ваня, — вон тут...», — и указал на пузатую бутылку с иностранной наклейкой.

— Ванечка, так это коньяк... и дорогой очень, двадцать пять рублей.

— Давай, — твердо сказал Ваня.

— Ну-ну, — удивилась продавщица.

У массивных железных ворот дома Митрохина смелость оставила его, и он с сожалением подумал, что надо было тяпнуть стаканчик вина для храбрости, а на трезвую голову как-то и слова нужные в голову не идут. Он мялся: идти или не идти, пока на улице не появился человек. Ваня подумал, что все равно его уже здесь видели и, толкнув калитку, вошел во двор. К нему навстречу метнулся лохматый пес, гремя цепью, монотонно забрехал. На крыльцо вышел Никита.

— Тебе чего?

— Степаныч дома?

— Ну да.

— Кликни на минутку, поговорить надо.

— Да заходи, цепки не хватает, не достает... Барс, цыц! Пошел вон!

Ваня прошел за Никитой на веранду. Гаврила Степанович в комнате смотрел телевизор. Никита позвал его:

— Батя, подь сюда. Пришли...

— Кто пришел? — спросил тот, вышел, увидел Ваню, заулыбался широко. — А-а, родич пожаловал. Давненько не заходил. Ну, как там мать, пишет?

— Та-а, — махнул рукой Ваня.

— Ну, так что, раз пришел, будь гостем. Пошли на кухню.

Пальто и шапку Ваня снял, сапоги не стал. Митрохин сказал:

— Проходи. Ничего, не наследись...

Ваня вытащил из кармана бутылку, поставил на стол. В комнату заглянула невестка, предложила помочь, но Гаврила Степанович сказал:

— Разберемся сами. — На столе появились огурцы, хлеб. Никита настороженно посматривал на гостя, пытаясь угадать, зачем тот пришел, с добром или нет.

— Хорош напиток, но не нашенский. Коньяк для официальных моментов. Давай, Никита, водочку достань.

Глаза Митрохина весело поблескивали со скрытой насмешкой. Налил в стакан водку.

— А тебе, может, коньяк, а? — спросил Митрохин.

«Издевается», — подумал Ваня, сузил глаза, сказал:

— Наливай водки.

Выпили, крякнули, закусили.

— Дело ко мне, что ли? — спросил Митрохин.

— Дело не дело, а поговорить надо. Я о доме...

— А-а, ты чего это вещи не забираешь? Лежат, пылятся...

— Степаныч, ты дом-то, того, верни, а?... Деньги я отдам. У Ленки на книжке есть.

— Ну, брат, силен, тяжелый ты вопрос затеял...

— Понимаешь, Гаврила Степанович, это же мой дом родной... Я вырос в нем, я каждую досточку помню. Отец в нем умер. Я вишни около него сажал. Нельзя его так просто бросить, а, Степаныч, ты же понимаешь меня?

— Я-то понимаю. Пойми и ты... Я дом купил, все законно, бумага есть, заверенная нотариусом. Мне Никиту отселить надо, пора ему свое хозяйство заводить. Нечего на отцовской шее сидеть. Я же не могу так решать — сегодня купил, завтра вернул, это несерьезно.

— Степаныч, я тебя по-доброму прошу...

— Ну, брат, ты и деятель, а? Видал, Никита, угрожает. Пришел в гости, ну поговори о жизни... Мы же родичи, ты это не забывай!

— Деньги у меня есть, деньги я отдам.

— Ну что ты заладил: деньги, деньги... Разве в деньгах дело?

— А в чем же? Не темни, Степаныч.

— Ну, что ты напирал, Ванька? Чо?.. Ты только о себе думаешь, — вмешался в разговор Никита.

— Не вякай! Не вякай, я сказал!

— Ты смотри на него. Не вякай, — передразнил Ивана Никита. — Ты наглый, как танк.

— Давай так, — перебил его Гаврила Степанович. — Я в общем не прочь. А где ты четыре тыщи возьмешь?

— Как четыре? Мать ведь полторы взяла...

— Батя, а как же я? — вмешался удивленный Никита.

— Помолчи, — цыкнул на него отец. — Дом твоя мать продала?

— Ну, — согласился Иван.

— Значит, дом был ваш, стал наш. Считаю, продешевила Тася. Я дешевле не отдам, я не дурак.

Ваня долго молчал. Злоба еще не родилась, но он уже почувствовал, как она ворохнулась где-то в глубине. Он даже осязаемо почувствовал ее.

— Степаныч, ну, так как, а?

— Тебе же русским языком говорят! — сказал Никита.

— Ну, ты, — ощерился Ваня. — Ладно. Я мешок вам простил, хотя надо было...

— Какой мешок? Чего ты мелешь? — Митрохин встал.

— Тот самый, из-за которого я три года отсидел. Твой мешочек был, Степаныч, твой. Никишка спрятал. А я, дурак, на ток хотел его свезти, ну и свез... Ты, Степаныч, сынка пожалел, а меня нет.

— Чего брешешь? Да за такое и в морду можно дать! — взвился Никита.

— А ты помолчи, — Иван медленно приподнялся из-за стола. — Ты сам по пьянке проболтался... Помнишь, на собственной свадьбе хвастался, какой ты везучий? Может, напомнить, кому что говорил? Степаныч, я не злой, ты мне дом верни!

— Давай, давай отсюда, — Митрохин показал рукой к дверям. — Топай!

Никита схватил Ваню за рукав и с силой дернул:

— Ты что, не слышишь?

— Не трожь, гад!

— Кто гад? — Никита схватил его за грудки. — А ну, пойдём поговорим!

Ваня вышел в коридор.

— Бери шмотки и топай! — Никита швырнул ему на руки пальто и шапку и, подталкивая, напирал, не давая Ване остановиться.

На крыльце Ваня все же изловчился и двинул его в правую скулу. Никита отлетел, и тут же, перевалившись через низенькие перильца, упал на снег.

— Батя! — закричал он. — Батя!

Митрохин выскочил на крыльцо, выругался и метнулся назад в дом.

— Собаки вы, а не родичи! — кричал Ваня, волоча пальто по снегу. — Ничего, мир тесен — встретимся!

Не сообразил Ваня, в чем дело, а когда сообразил, бежать было поздно: черный пес, которого отвязал Никита, вцепился в пальто и, рыча, стал его трепать, упираясь всеми четырьмя лапами. Ваня хотел подтянуть его и двинуть сапогом по зубам, но не доставал. Тогда он кинул в него шапкой и стал отступать к калитке. Пока открывал ее, пес тянул его за сапог так, что Ваня почувствовал его зубы. Вырвался на улицу.

— Сволочь! Сволочь! — шептал Ваня разбитыми губами, сплевывая сукровицу, он яростно рвал штатетник из забора, тоненькие досточки трескались, ломались

островские верхушки, он все же выдернул палку и кинулся назад, пинком ноги распахнул калитку.

— Ну, иди сюда! Иди!

Пес, рыча, бросился навстречу. Ваня спокойно подпустил его и обрушил палку, целя в голову. Удар пришелся в лапу, пес жалобно заскулил и метнулся к будке.

— Убью! Убью!

На крыльце стоял Митрохин и держал в руках двустволку. Ваня презрительно глянул в темные, бездонные отверстия, схаркнул на снег.

— Ты... Ты...

— Ваня!

Он оглянулся, к дому бежала Ленка, распахнутое пальто развевалось, как крылья.

— Ленка, уйди! — закричал Ваня.

— Ваня, Ванечка, — хватала жена его за руки. — Что же ты не сказал? Что же ты такой? Я принесла. Вот...

Она достала из кармана толстую пачку денег, перевязанную ленточкой. — Что же ты так... Ваня?

Ваня кинул деньги на снег.

— Бери, родич!

Повернулся и гордо пошел со двора. Лена семеняла рядом и старалась вытереть платком ему лицо.

— Что же ты у меня такой, Ваня?

— Та-а, — кривился Ваня и отводил ее руку.

— Ты только не пей, Ваня. Я с матерью согласна жить. Ваня...

Когда уже подходили к автобусной остановке, он вспомнил:

— Собака, шапку забыл. Ну, гад... Ну, ладно.

Дома, рассматривая прокушенную ногу, Ваня злился.

— Сапог прокусил...

— А пальто, Ваня, новое ведь пальто было. Все порвал...

Илюша со страхом и любопытством смотрел, как из раны сочится кровь. Ваня позвал его к себе.

— Знаешь, где он живет?

— Угу.

— Иди посмотри, лежат деньги или взяли. И шапку глянь. Может, где увидишь.

— Ну, чего ты хлопца посылаешь? — возмутилась Ленка. — Сама схожу. Не хватало, чтобы и его собака покусала.

— Больше кусать не будет, — сказал Ваня.

* * *

«Дни в городе бегут быстрее, — вскоре сделала вывод мать. — Ахнуть не успела, а смотри, три недели пролетели. Дома, наверное, снег выпал?.. — думала она и тут же отгоняла непрошенные мысли. Дом ее теперь здесь, и сама она — городской житель. Правда, у Петра не все получалось с пропиской, но он говорил, что нашел нужного человека, который обещал помочь.

Потихоньку она привыкла, что в этом доме не любили рано вставать, и поэтому она научилась притворяться и лежать с открытыми глазами. Все равно это было мучительно — на старой, прогнувшейся раскладушке она лежала, как в корыте, тело затекало, а повернуться она стеснялась, потому что тогда раскладушка сильно скрипела. Но больше всего ее донимали ночные звуки. Сквозь чуткий старче-

ский сон она слышала гудки и стук колес далекого поезда, скрежет трамваев и бесконечный шум автомобилей.

Был у нее теперь свой круг обязанностей: надо встать в семь часов — не раньше и не позже, тихонько выйти на кухню, постараться не скрипеть дверью, поставить чай, разогреть завтрак, накормить всех, одеть внука, отвести его в детский сад, выслушать на ходу наставления невестки. И так каждый день.

Когда все разбегались, и она возвращалась в квартиру, то подолгу сидела в тесной кухне и отдыхала. Жизнь ее там, на хуторе, была размеренной и основательной, а здесь все надо было делать быстро. К этому привыкнуть ей было трудно.

Днем ходила в магазин, покупала продукты, готовила ужин, вечером брала внука из садика и поджидала сына с невесткой. Приходила Вера с работы, по вечерам она была неразговорчивой и нервной, а потом появлялся Петр и шумно объявлял, как продвигаются дела с квартирой и пропиской. Поужинав, садился за газету, позже смотрел программу «Время», потом все ложились спать.

Иногда ей казалось, что она в гостях, что скоро это гостевание закончится, и она поедет к себе домой.

— Сережа... Сереженька... — тихо позвала мать. Громче нельзя. Это не в деревне, где можно крикнуть так, что соседские петухи всполошатся и собаки ответят. Куда же он пропал? Спрятался сорванец. Здесь, если громко позвать, так открываются двери, высунутся лица, выйдут люди: «Что там такое?» — любопытные, «Что там такое!» — возмущенные. Здесь общезнание, люди покоя требуют.

Мать остановилась на площадке и, прежде чем опять еще раз позвать внука, прислушалась: нет, его нет. Она опять тихонько позвала: «Сережа». Подняться надо на пятый этаж, девять ступенек, площадка, еще девять ступенек, еще площадка, две площадки — этаж. За день она много раз спускается и поднимается туда-сюда. Под вечер ноги начинают гудеть, и идти становится тяжело, стучит в висках, сердце хватает. А тут еще внук, такой балованный, чуть отвернулась, умчался куда-то с гиканьем. У нее сердце сжимается, вдруг кто-то выйдет из какой-нибудь квартиры и зашумит на нее, а этого она боялась больше всего.

Вот и пятый этаж. Вошла в коридор. Теперь налево. Вот здесь, у кухни, можно передохнуть. Она боком приваливается к стенке и, тяжело дыша, отдыхает... Голоса на кухне, высоким с хрипотцой — это Петра, ее сына, а это — мягкий, нежный — его жены Веры, невестки, значит. Мать прислушивается не из любопытства, а просто так, захотела сына послушать.

— Петя, я устала.

— Ну, чего ты хочешь?

— Я ничего не хочу... Сколько прошло? Месяца еще нет. А на что жизнь стала похожа? Я в своем доме, как на вокзале, сижу и жду, когда поезд отойдет. Ну, чего ты на меня смотришь? Я что, неправду сказала? И ты так думаешь, только молчишь, потому что мать твоя. Может, в гостиницу определить ее, пока квартиру не получим?

— Ну что ты говоришь. Вера?.. В гостиницу... Туда паспорт с пропиской нужен, а она там выписалась, а здесь пока не прописана. Между небом и землей...

— Придумай что-нибудь! Мне эти дни вечностью кажутся... Я каждый раз дрожу, вдруг ночью опять кровать заскрипит... От стыда умереть можно, у меня и так уже сердце болеть стало... А сегодня соседка орала. Ты не слышал? «Скажите своей бабке, пусть в мужской туалет не ходит...» А ей туда просто ближе... Понять можно, ноги больные, но неприятно... А вот недавно было — Сережа приходит из садика и так серьезно говорит: «Мама, почему ты, когда бабушка чавкает за столом, ей ничего не говоришь, а меня в угол ставишь?..»

Мать хотела незаметно вернуться, ведь нехорошо подслушивать, если даже

случилось это нечаянно, но у нее будто и руки, и ноги отяжелились, она стояла, при-слонившись к стене и боялась шевельнуться, чтобы не выдать себя и не смутить сына. Первая, едва уловимая волна стыда и горечи охватила ее. «Но откуда мне знать, что можно, а что нельзя».

— Нам бы получить квартиру, сразу легче было бы, — сказал Петр. — Третья комната никогда не помещает.

— Петя, да бог с ней, с этой комнатой.

— Ну, знаешь... А с матерью как? Это же не книжный шкаф, взял — переставил.

Ночью мать опять притворилась спящей, тихо лежала, боясь шевельнуться, скупые, непрерывные слезы текли по ее седым вискам. Горько думалось ей о своей жизни. Нет, Петра она не винила, он всегда сердцем слабый был, за что винить? И невестку она понимала. Но сердце исходило невыносимой тоской и болью.

А утром, когда все разошлись, она собрала разбросанные по всей комнате семейные фотографии, кинула в сумку кое-какую одежонку, нашла в шкафу свой паспорт и поехала на вокзал. На столе на видном месте оставила записку: «Детки, живите дружно. У вас хорошо. Я поехала домой. Мать».

* * *

Кум Гаврила Степанович встретил ее на веранде, и в дом не пригласил, и слова не дал сказать.

— Ноги, ноги вытирай, — сердился он. — Чего надо?

Вышел он в одной майке и всем своим видом показывал, что разговор будет коротким. Мать все поняла — не будет же раздетый человек на таком холоде выслушивать ее длинный рассказ о поездке к сыну. Да она и слова, которыми хотела разжалобить кума, забыла, а теперь и вовсе не знала, что сказать, и стояла маленькая и жалкая, горестно разводила руками, открывала рот, но ничего не говорила.

— Ну, — сказал кум.

— Так я насчет хаты, — выдохнула и вся сжалась, как перед ударом.

Кум побагровел, наливаясь гневом, и заорал:

— Чтобы я еще раз с Тянтовыми связался — да никогда... Чокнутые все Тянтовы, а о чем с чокнутыми говорить? Иди, иди бабка отсюда, иди по-хорошему!.. Ничего не хочу, понятно? Ничего. Иди в свой задрипанный дом, — надвигался на нее, всей тушей тесня за порог.

На крыльцо выскочила кума и затараторила:

— Ты у своего Ваньки спроси, пусть расскажет! Хулиган! Пусть еще спасибо скажет, что в милицию не сдали! Пожалели, а надо было бы!

Пес рвался с цепи к пятящейся матери, но она не слышала его злобного рычания и воплей кумы, она будто оглохла вдруг и видела только оскал зубов собаки. «В милицию, — пронеслось в голове, — да что же это такое! В милицию ему нельзя!»

Спотыкаясь, прижав к груди свой маленький узелок, мать торопилась к тому единственному в этом мире месту, где, она думала, будет ей покой и облегчение тревогам.

...Ржавая консервная банка на заборе... Вот калитка... С влажных свежесвежеструганных порожек родного дома навстречу ей поднялся ее младший сын Ваня.

